

ЕВГЕНИЙ НОВИЧИХИН

РАДЕТЕЛЬ РУССКОГО СЛОВА

“Вот и настало время воспоминаний. В молодые годы никому из нас не дано предвидеть своих жизненных пределов, не дано знать, кто первым уйдёт в мир иной, а кому придётся в одиночестве печалиться и скорбеть об ушедших друзьях, которые, возможно, были достойны более длинной жизни, чем твоя собственная. Но коль судьба отнеслась к тебе столь милостиво, то, отложив все другие дела и заботы, сядь и напиши об ушедших всё, что ты о них знал, что запомнил. За это тебе потом воздастся: может, кто-то ещё, более долговечный, чем ты, и о тебе вспомнит добрым, непредвзятым словом”.

Так начинаются воспоминания Ивана Ивановича Евсеенко о Литинституте, о своём литературном учителе Сергее Павловиче Залыгине. А теперь пришло время вспомнить и о нём самом – незаурядном русском писателе, моём давнем и хорошем друге Иване Евсеенко. Говоря его словами, я оказался “более долговечным”, чем он, хоть он и моложе меня.

Наша с ним дружба началась в 1973 году. Именно тогда я был приглашён новым главным редактором журнала “Подъём” Виктором Михайловичем Поповым на должность редактора отдела поэзии и публицистики. Работу начал в марте. Напротив моего стола в рабочем кабинете редакции стоял стол редактора отдела прозы. Его занимал известный писатель Юрий Данилович Гончаров. Но он уже подал заявление об уходе, наводил порядок в ящиках, забитых рукописями, и со свойственными ему нотками нитья без конца убеждал меня:

– Женя, ничего хорошего здесь сделать невозможно... Не дадут ни обком, ни цензура...

В эти же дни Виктор Михайлович Попов собрал коллектив редакции, чтобы посоветоваться: кого назначить вместо Гончарова? Я, разумеется, деликатно молчал – рано мне ещё было советы давать, а другие называли какие-то фамилии. Заместитель Попова Александр Иванович Гридчин, помнится, сказал:

– Надо бы найти прозаика уровня Гончарова. Но это практически невозможно.

Так и разошлись, ничего не придумав.

А ещё через несколько дней главный редактор снова собрал всех в своём кабинете. Объявил:

– В отдел культуры обкома партии позвонил Залыгин. Попросил принять к нам на прозу одного своего выпускника. Очень хорошо о нём отзывается. Тимофеев считает, что к Залыгину надо прислушаться.

Имя Сергея Павловича Залыгина – известного в стране прозаика и профессора Литературного института – было в то время настолько авторитетным, что заведующий отделом культуры обкома Евгений Алексеевич Тимофеев никак не мог проигнорировать его просьбу.

Гридчин поинтересовался у Попова:

— А фамилию этого выпускника Тимофеев назвал?

Попов заглянул в какие-то записи и сказал:

— Евсеенко.

Гридчин радостно всплеснул руками:

— Ваня Евсеенко? Я отлично его знаю! Лучшей кандидатуры нам не найти!

Выяснилось, что до Литинститута Евсеенко учился в Курском педагогическом, а Гридчин много раз принимал участие в совещаниях молодых литераторов, проводимых курянами. Там и познакомился.

Словом, вопрос о будущем редакторе отдела прозы журнала был решён. Кстати, впоследствии, когда Залыгин приезжал в Воронеж на Кольцовско-Никитинские дни литературы, я был свидетелем одной из его встреч с Иваном Евсеенко и понял, что Сергей Павлович действительно считал Ваню одним из лучших своих учеников, если не самым лучшим.

В редакции Иван Иванович появился ближе к концу лета, но к работе приступил не сразу. У него была семья, и надо было искать жильё. Оказалось это делом нелёгким, на него ушло немало времени. Как-то прочитал у одного злопыхателя: мол, воронежским писателям приходилось ждать квартиру по много лет, а этому пришлому выскочке Евсеенко дали сразу, как он только появился в Воронеже. Тут сразу две лжи. Во-первых, в ту пору воронежских писателей обеспечивали жильём безо всяких особых проблем. Литфонд СССР был богатой организацией и беспрепятственно выделял деньги на долевое участие в строительстве жилья любой писательской организации по её запросу. Во-вторых, Евсеенко, прежде чем получить квартиру, пришлось много лет её снимать, оплачивая из собственной зарплаты.

Приступив к работе, он, самый молодой сотрудник редакции, как-то сразу стал задавать тон требовательного отношения к авторам и публикуемым на страницах журнала произведениям. В принципиальных вопросах ни на какие компромиссы не шёл и мог открыто возмущаться даже тогда, когда какой-нибудь плохой рассказ или повесть оказывались поставленными в номер по воле самого главного редактора. С его мнением в редакции всегда считались. И совсем не потому, что его учителями были Залыгин и Евгений Носов. Всем было ясно: Евсеенко и сам вырастет в большого писателя. Об этом говорило не столько его литинститутское образование, сколько природная душевная образованность. Это подтверждала и первая его книжка повестей и рассказов, вышедшая в Воронеже в 1974 году с предисловием Сергея Залыгина. Мы радовались ей всем коллективом. А через два года Ваня стал членом Союза писателей СССР. К тому времени он был автором уже двух книг: вторая под названием “Бревенчатый дом” (с предисловием Евгения Носова) вышла в Москве, в издательстве “Современник”, в 1975-м. Помню, каким расстроенным был Ваня, получив сигнальный экземпляр этой книги. Дело в том, что её редактор изменил название, не согласовав с автором. Евсеенко дал своей книге название “Маленький бревенчатый дом”. В изданном варианте слово “маленький” исчезло. Мне и сейчас кажется, что название, которое дал книге Евсеенко, выглядело более привлекательным.

С приходом Вани в “Подъём” отдел прозы журнала заметно преобразился. Появились новые авторы, — как правило, молодые, но уже заметно заявившие о себе в литературе. Большой положительный резонанс имел журнальный номер, целиком состоящий из молодёжной прозы. Его “благословил” своим вступительным словом Сергей Владимирович Михалков. О прозе журнала стала чаще писать центральная российская пресса. Понятно, что и интерес читателей к “Подъёму” неизменно возрастал.

Двенадцать лет, с 1979-го по 1991 год мы жили с Ваней в одном подъезде: я на пятом этаже, он на девятом. Виделись с ним не только на работе, но и дома. За эти годы мы с ним ещё больше подружились. Как писатель он жил по известному принципу: “ни дня без строчки”. С утра, до одиннадцати часов, он не принимал никаких звонков, ни с кем не обсуждал никаких вопросов. Он писал. А после одиннадцати занимался домашними делами. Любил постолярничать: пилил, строгал, благоустраивая свой быт и быт своей супруги Светланы Ефимовны, своих детей Вани (тоже Ивана Ивановича Евсеенко!) и Светы.

Литературно бахвальства, игры “в классику” Евсеенко решительно не принимал. Он реагировал на них моментально. Вспоминается, как гораздо позднее, в июне 1995 года в Якутске, в перерыве между заседаниями пленума

правления Союза писателей России, я стал невольным свидетелем разговора Вани с местным прозаиком, его сокурсником по Литинституту.

— Ваня, вот я останусь в якутской литературе! — гордо сказал сокурсник. — А ты?

Евсеенко посмотрел на него в упор и не без ехидцы сказал:

— А я не останусь. Но — в русской!

Своей принадлежностью к русской литературе он очень дорожил. Украинец по национальности, Евсеенко был глубоко русским человеком по своей сути. “Нас трудно обвинить в высокомерии, это не русская черта характера, — писал он в одной из статей, — но... отдавая дань уважения выдающимся талантам западноевропейской и американской литератур, таким писателям, как Хемингуэй, Стейнбек, Вулф, Маркес, Бёлль и другие, позволим себе заметить, что если этих писателей поставить в один ряд с их русскими ровесниками: Шолоховым, Платоновым, Леоновым, Булгаковым, — то не уменьшатся ли они в размере и росте, сколько бы Нобелевских премий ни получали”. Согласитесь: это евсеенковское “нас” о многом говорит.

На писательских собраниях, на встречах с читателями он постоянно подчёркивал, что русский писатель должен, как и его великие духовные предшественники, жить жизнью своего народа и писать его судьбу. Сам Евсеенко так и жил, так и работал.

Подлинный пример русского писателя он видел в Гоголе, который, по мнению Евсеенко, совершил подвиг: поставил перед собой “великую, почти религиозную и заведомо неисполнимую цель — исправить посредством слова и литературы погрязшего в грехах человека”, а увидев, что цель эта неисполнима, пошёл “на духовное распятие, на крест”.

Конечно, свою Украину он любил так же, как и Россию. И горько переживал, понимая, что пропасть между ними стремительно растёт. Помню, как он страдал, возвратившись из поездки на Украину в 1994 году. Тогда его пригласили в Киев и Николаев на празднование 180-летия со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Увидев собственным глазами, как украинцы делают Кобзаря символом своего противостояния с Россией, Ваня в сердцах заявил даже, что нельзя, недопустимо устанавливать памятник Шевченко в воронежской Россоши (в ту пору как раз появилась такая инициатива, не реализованная, впрочем, и до сих пор). С возмущением рассказывал мне об увиденном им “параде государственных флагов” стран, в которых живут украинцы. Среди множества таких флагов он еле обнаружил государственный флаг России, потому что разместили его в числе самых последних. Но больше всего его волновало то, о чём позднее он напишет так: “Не мог я преодолеть в себе горькую обиду, что не по моей вине и желанию малая моя родина стала вдруг как бы уже и не родиной, а чужой страной, зарубежьем. Её у меня просто-напросто украли злые, чем-то похожие на Соловья-Разбойника люди”.

А весной 1996 года мы побывали с ним на Украине вместе. Руководитель Черниговского отделения Союза писателей Украины Станислав Репьях пригласил нас на литературный праздник, посвящённый 105-й годовщине со дня рождения классика украинской советской литературы Павла Григорьевича Тычины. Ваня со Станиславом были земляками-черниговцами и хорошо знали друг друга, я же был знаком с Репьяхом заочно, потому что годом раньше перевёл на русский и опубликовал в “Подъёме” его интереснейшее документальное исследование “Марево”, посвящённое взаимоотношениям Тараса Шевченко с женщинами. Праздник этот завершился встречами писателей с читателями сельских районов Черниговщины, и Ваня настойчиво просил организаторов, чтобы меня направили в общей с ним группе в его родной Щорский район. Нам пошли навстречу.

Город Щорс встретил нас хорошей погодой и доброжелательными улыбками. Выступали с Ваней в его родной украинской школе, а потом — в русской. Вместе с нами был украинский прозаик Александр Смоляк, Ванин земляк: они родились в одном селе. Оба они — и Евсеенко, и Смоляк — были своеобразными символами перелетения судеб русских и украинцев. Дело в том, что Евсеенко окончил украинскую школу, но стал русским писателем, Смоляк же учился в русской школе, но стал писателем украинским.

Ко второй встрече к нам присоединилась сестра Ивана Ивановича — Таисия Ивановна Шкром, приехавшая на встречу с братом из Днепрпетровска. Её, врача по профессии, хорошо знали не только в Щорском районе, но и во

всей Украине, она была известным общественным деятелем, организатором движения солдатских матерей.

Ещё одна встреча с нами состоялась в Щорской детской библиотеке. После этого у нас оказалось два совершенно свободных дня, так как поезд Киев-Воронеж, которым мы должны были возвратиться домой, был в ходу уже не ежедневно, как в прежние времена. И на эти два дня Ваня пригласил меня в своё родное Займище. Побывали на могиле матери Ивана – известной и любимой в селе учительницы. На берегу реки Сновь, описанной во многих его книгах, он восторженно рассказывал мне о своих земляках. Не без гордости знакомил меня с Ушатыми – родом, к которому по материнской линии принадлежал сам и представители которого постоянно упоминаются на страницах его рассказов и повестей. Радовался, как ребёнок, показывая мне чернобрового аиста, устроившего гнездо посреди села, на телеграфном столбе, и бесконечно удивлялся, что эту птицу я вижу впервые в своей жизни. А в Щорском дворце культуры для нас пел большой и совершенно профессиональный хор села. Пел только для четверых: для Вани, его сестры Таси, Александра Смоляка и меня. Земляки любили Ваню так же горячо, как любил их он. Достаточно сказать, что в Займищенском клубе есть музейная экспозиция о жизни и творчестве Евсеенко, земляки издали и посвящённый ему библиографический справочник.

Концерт хора, который назывался “Спадщина”, что по-русски означает “Наследие”, лично мне очень понравился. По настроению же Ивана я понял, что он чем-то недоволен. Когда мы остались одни, скрыть своего недовольства он не смог.

– Понимаешь, этот хор в пятидесятые годы исполнял и русские, и украинские, и белорусские песни, – поделился Ваня воспоминаниями. – По-иному и быть не могло: ведь село наше было расположено на стыке трёх республик. А сегодня... Да ты же сам слышал – только украинские песни поются. Какая же это спадщина, какое же наследие? Наше общее наследие – общие песни! А Украина об этом забывает. Умышленно?

Немного помолчав, добавил:

– Думаю, что Василий Иванович Полевик (руководитель хора. – **Е. Н.**) и сам всё понимает. Но куда ж ему деваться? Пойдёт по району слух об этом концерте, вызовут его в какой-нибудь высокий кабинет, и получит он такую нахлобучку!

В этой поездке чувства Вани были обострены до предела! Приведу ещё один пример. Зашли мы с ним в гости к его родственникам. За гостеприимным столом шёл обычный разговор. Я не обратил совершенно никакого внимания на одну, казалось бы, мелочь, которая Ваню очень задела. Расстраивать родственников он не стал, а мне в этот же вечер сказал:

– Тоскливо мне как-то. Понимаешь, в прежние мои приезды тётя Маня всегда спрашивала: “Как там дела у вас в Воронеже?” А сегодня спросила: “Как там дела у вас в России?” Я еле выдержал, чтобы не взорваться! Они же все ошущают себя уже отдельно – и от России, и от меня...

Позднее он напишет: “Порвана пуповина и между Украиной и Россией, тут не надо тешить себя ложными надеждами и мечтаниями. Побывав на могиле матери и уезжая назад в Россию, теперь каждый раз плачу я, а плачет ли по блудному своему сыну Украина, мне неизвестно. Скорее всего, если и плачет, но не очень горючими слезами... А ведь таких сыновей по всей России, по всему белому свету рассеяно многие миллионы. Соберёт ли она их когда-нибудь вместе?! Похоже, что в гордыне своей расставшись с Россией, не соберёт. Не до того ей нынче...”

Но возвращусь назад, в семидесятые годы. Однажды Ваня попросил меня прочитать рукопись его нового рассказа. Я прочитал, а кое-что и поправил: окончивший, как я уже сказал выше, украинскую школу, он иногда неоправданно употреблял в тексте украинские слова, путал в русских словах буквы “ы” и “и”. Высказал ему и своё мнение о рассказе. С тех пор я стал, как он сам неоднократно утверждал, его первочитателем. По утверждению Вани, все его рассказы и повести я читал раньше других, а иногда вторым – после дочери Светланы. Однажды во время обсуждения на писательском “литературном вторнике” одного из произведений Евсеенко прозвучала какая-то бездоказательная критика в его адрес. Ваня незамедлительно ответил критикану:

– Здесь есть люди, литературным вкусам которых я доверяю больше, чем вашим! – и указал в мою сторону, порядком меня смутив.

Он всегда, надрывая своё сердце, чутко реагировал на всё, что казалось ему выходящим за пределы норм человеческого общения. Однажды под его горячую руку попал даже авторитетный Егор Исаев. Пользуясь своими хорошими отношениями с воронежским губернатором, Егор Александрович позволил ему и решил один из спорных вопросов явно не на пользу воронежской литературе. Вскоре после этого мы с Евсеенко оказались в Москве, в храме Христа Спасителя, где проходили заседания очередного Всемирного Русского Народного Собора. Стоим с ним в фойе зала церковных соборов и видим, что к нам, раскрыв объятия, приближается Исаев. Когда он протянул нам свои руки, Ваня неожиданно отрезал:

— А я тебе своей руки не подам!

Егор Александрович опешил от недоумения. А Евсеенко повернулся и ушёл.

Надо сказать, что Ваня с самого начала работы в “Подъёме” показал себя как человек довольно острый на язык. Одна из первых его шуток была связана с тем, что у Виктора Михайловича Попова практически не было волос на голове. Когда мы всей редакцией собирались за праздничным столом или отмечали выход книги кого-нибудь из нас, Евсеенко непременно произносил свой коронный тост:

— Пусть больше ни один волос не выпадет с головы главного редактора! Когда на этом посту Попова сменил я, тост Ивана видоизменился:

— Пусть больше ни один волос не поседеет на голове главного редактора! Можете себе представить, как выглядела к тому времени моя голова, если он по этому поводу шутил.

Он шутил даже над собой, написав на себя эпиграмму:

*У Евсеенко Ивана
Никакого нет изъяна.
У него один изъян:
Он Евсеенко Иван!*

В нашей писательской организации в своё время была стенгазета под названием “Подкова”, возникшая по инициативе Владимира Григорьевича Гордейчева (сам он и рассказал о ней в своей книге “Памятные страницы”, вышедшей в 1987 году в Воронеже). Каждый мог оставить в ней любую шутку или эпиграмму. Со временем стенгазета перестала существовать, но её традиции ещё долго жили в устном варианте. Немалый успех имела так называемая “Поэма прихода”, в которой первая строка каждого четверостишия начиналась со слов “приходил” или “приходила”. Например: “Приходил к нам Троепольский...”. Или: “Приходила поэтесса...” Одно из четверостиший принадлежало Евсеенко. В нём он обыграл тот факт, что многих прозаиков, приносивших свои рукописи в отдел прозы “Подъёма”, звали Иванами (Иван Сидельников, Иван Матюшин и т. д.), а редактор отдела тоже был Иваном:

*Приходил вчера Иван,
Приносил нам свой роман.
Посидел с часок с Иваном —
И пошёл назад с романом!*

В устной речи вместо “назад” обычно употреблялось более крепкое словечко.

В писательском мире немало тех, кто не имеет понятия о своём реальном месте в литературе. Многие, издав одну-две книжки, уже мнят себя гениями. Совсем не преувеличиваю. Мне сотни раз приходилось бывать на всевозможных обсуждениях, презентациях и тому подобное. Прочтёт автор весьма посредственное произведение, а друзья уже восклицают:

— Гениально!

И автор принимает это как должное.

Однажды позвонил мне один такой коллега:

— Слыхал, что Евсеенко получил очередную премию?

Конечно, я узнавал обо всех литературных наградах Евсеенко одним из первых, потому что Ваня своими радостями спешил поделиться с друзьями: со мной, с Виктором Будаковым, с Виктором Никитиным.

— Как считаешь: заслуженно ли он её получил? — не унимался коллега. Объяснил ему, как мог, что Евсеенко достоин и куда более весомого признания.

— А я с тобой не согласен! — заявил мой собеседник. — Вот я написал великолепный рассказ, послал его Ивану, а он мне его вернул!

Такие “аргументы” или подобные им ходили вокруг имени писателя десятками. Более того, на него писали всевозможные доносы, как говорится, “от Москвы до самых до окраин”: то Президенту, то председателю Союза писателей, то губернатору. А ещё раньше — то Генеральному секретарю ЦК, то первому секретарю обкома. . . Писали и анонимно, и открыто. Вспоминается, как один курянин написал в обком партии жалобу, в которой утверждал: я, мол, привёз Евсеенко две бутылки водки, а он печатать мой роман не стал. Я к тому времени был уже главным редактором журнала, поэтому по поводу этой жалобы именно меня вызвали в отдел культуры обкома. Заведующий отделом Александр Сергеевич Сеницын протянул мне эту “телегу”, а когда я её прочитал, спросил:

— Что будем делать?

Я сказал, что доверяю Ивану Ивановичу полностью и в правильности его решения не сомневаюсь.

— Я понимаю, — сказал Сеницын. — Но и ты меня пойми: ведь в жалобе говорится о водке. Автор же на взятку намекает!

— Да чушь всё это! — возмутился я.

— Ладно, — согласился он. — Пусть Евсеенко напишет объяснительную, и мы это дело закроем. . .

Вернулся я в редакцию, рассказал обо всём Ивану. Он вспылил:

— Ничего писать не буду!

Я хорошо знал его характер, поэтому молча ушёл в свой кабинет, уверенный, что через несколько минут Ваня эту злосчастную объяснительную мне принесёт. И оказался прав. Он зашёл ко мне, усмехаясь, и подал вот что:

“Главному редактору журнала “Подъём” Е. Г. Новичихину. Объяснительная. Объясняю, что я взятку никогда не беру и не брал, особенно водкой. И. Евсеенко”.

Эту “объяснительную” я и отнёс в обком.

В этом “объяснении” он весь. В самом деле, не объяснять же всерьёз, почему он вернул рукопись графоману, если этот графоман даже предложил с ним выпить! Кстати, с водкой Ваня даже в молодые годы не очень-то дружил.

Один такой графоман до сих пор уверен, что это именно он своими доносами снял Евсеенко с поста главного редактора в 2006 году. Даже бахвалится этим в интернете. Слава Богу, в наше время уже никто не принимает доносы всерьёз. А уход Евсеенко из редакции был связан совсем с другими причинами.

Я же ушёл с поста главного редактора в начале 1993 года, полностью разубедившись в возможности проводить независимую литературную политику в условиях нагрянувшей “экономической цензуры”. Новым местом моей службы стал Воронежский областной литературный музей имени И. С. Никитина, куда меня назначили директором. Конечно, Ваня был раздосадован моим уходом. Ведь мы с ним проработали бок о бок два десятка лет! По этому поводу он съязвил эпиграммой:

Ты был Евгений из Евгениев!

Ну, а теперь ты — экспонат.

И на тебя с большим сомнением

Кольцов с Никитиным глядят...

А при встречах неоднократно шутил:

— Возьми меня на работу в музей. . . экспонатом! Представляешь, сижу я в музейном зале, а передо мною табличка: “Живой писатель. Руками не трогать!”. Разве не интересно будет такое посетителям?

Не знаю уж, витала ли эта идея в воздухе, или Ваня поделился ею с Эдуардом Лимоновым (они были хорошо знакомы), но позднее, на выставке, посвящённой творчеству последнего (она проходила в Москве, в Политехническом музее), Лимонов сидел в выставочном зале, а перед ним висела табличка: “С экспонатом не разговаривать!”

Главным редактором “Подъёма” Евсеенко стал в 1997 году не без моего участия. В то время я уже возглавлял комитет по культуре администрации

Воронежской области. Экономическая ситуация в “Подъёме” была, что называется, аховая, журнал погибал. Глава области Иван Михайлович Шабанов, несмотря на труднейшую ситуацию с бюджетом, откликнулся на просьбы редакции и комитета по культуре: “Подъём” изменил статус, став (впервые в стране!) государственным учреждением культуры. Решение по назначению главного редактора должен был принять я, и у меня, признаться, не было никаких раздумий: на этом посту мне не виделась ни одна кандидатура, кроме Ивана Евсеенко. Он согласился, попросив, правда, вменить в его обязанности только творческие вопросы, освободив от административно-хозяйственных.

— Я в этом деле профан, — честно признался он.

И тогда я своим приказом разделил в редакции административно-хозяйственные и творческие функции, введя в штатное расписание “Подъёма” должность директора. Им стал Александр Голубев.

О своём решении я никогда не пожалел. И в качестве главного редактора Евсеенко оказался на высоте.

Однажды Ваня меня весьма удивил. Ещё в пору нашего знакомства мы разговаривали с ним как-то о том, как война вошла в наши судьбы. Он рассказал о своём погибшем отце. А я поведал ему о давней трагедии: немцы, отступая из нашего села, облили бензином и забросали гранатами подвал, в котором родители укрыли от бомб, снарядов и пуль полтора десятка детей. Я и сам, вместе со старшим братом, сидел в том подвале, но за несколько минут до трагедии мама увела нас домой с мыслью: “Погибать — так вместе...” Я и не думал, что Евсеенко будет целых сорок лет держать эту историю в своей голове! Его повесть “Дмитриевская суббота” навеяна как раз этим моим рассказом, о чём он неоднократно — и устно, и печатно — говорил и коллегам по перу, и читателям. Опубликованная в “Нашем современном” (2012, № 5, с. 76–111), повесть была удостоена годовой премии журнала.

Я прочитал всё, что написано Иваном Ивановичем Евсеенко. Писатель он редкий. Он был подлинным радетеlem русского слова, свято берёт традиции отечественной прозы. Но не только берёт. Он их и развивал. Совсем не случайно, например, Сергей Чупринин, размышляя о повести Евсеенко “Однодворец Калашников”, писал в “Литературной газете”: “Есть ли в русской литературе аналоги подобного рода прозе?”

Жаль, что при жизни Вани многие не понимали его огромного писательского масштаба. Думаю, что этого не понимали и воронежские власти. Накануне 50-летия Союза писателей России на имя губернатора области В. Г. Кулакова пришло письмо за подписью председателя Союза писателей России Валерия Ганичева. В нём руководитель Союза просил администрацию области инициировать награждение Ивана Евсеенко орденом Почёта за заслуги в развитии отечественной литературы. Никаких результатов не последовало.

Летом 2014 года, когда он уже тяжело болел, мы несколько раз сидели с ним вдвоём на скамейке во дворе его дома. Говорили о жизни, о литературе, о событиях на Украине, которые он не мог не принимать близко к сердцу. В те дни Ваня был полон оптимизма и надежды на то, что справится со своим нелёгким недугом. Но недели за три до смерти в телефонном разговоре сказал мне: “Всё, Женя. Мне пора собираться...” Попробовал его успокоить. Но какие слова тут можно подобрать?

На прощание с Ваней из местного начальства пришёл депутат областной думы Сергей Иванович Рудаков. Он, доктор философских наук, конечно же, понимал, что такое Иван Евсеенко для русской литературы, для чести и гордости области. Никто больше до этого не додумался.

...Кем и чем был для него я, он понял гораздо раньше, чем я понял, кем и чем для меня был он. На своей последней книге “Затаив дыхание...” он оставил такой автограф:

“Дорогой Женя! Большое тебе спасибо за всё, что ты сделал для меня в жизни! И. Евсеенко. 23.04.2013 г.”

А что, собственно говоря, я для него сделал? За что он меня благодарил? Ну, назначил я его главным редактором журнала... Ну, нашёл спонсора для издания его маленькой повести в серии “Воронежские писатели: XXI век”... Ну, стал он по моей инициативе первым лауреатом премии Воронежского отделения Союза писателей “В прекрасном и яростном мире”... Ну, написал и опубликовал я несколько рецензий на его книги... Так ведь всё это такие мелочи по сравнению с его огромным талантом! Нет, не об этом его автограф. Этими словами он оценил нашу с ним дружбу.

Прости, Ваня, что я поблагодарить тебя за эту дружбу не успел...